

П

еред Пасхой вся светлая Русь, следуя какому-то особому небесному зову, в противоречие церковным установкам идет на кладбище «прибираться». Даже человек нерадивый, отпетый атеист, глуховатый к зову свыше, точно знает: идти придется, иначе люди глаза повыширивают.

Уже прилично отойдя от дома, я с досадой обнаружил, что иду без граблей. «Э-э-эх! Чем же подгрести и собрать мусор? — загорился я. — Без граблей-то никак не получится». Но успокоил себя, решив зайти за граблями к давнему приятелю Витьку: благо дело, живет он по пути.

Здесь он родился и вырос, а я... я чужак и, как однажды сказал он, «навсегда». Коренастый, в кожаном пальто, с шапкой вьющихся волос, ходил он по деревне с шелестом шепотков за спиной: наблудился по сибирям-то... жениться — и то ему некогда было... во, как сибирскую целину-то поднимал-перепахивал!

Витек не отказывался, не отнекивался, соглашаясь, что потрудиться пришлось, что бабья там навалом, да мужичок в тех местах поизмельчал, от водочки обездомчил. Как не помочь!

Лет пять общались мы с ним по касательной, от случая к случаю. Изредка заходили друг к другу, расширяя уровень общения, но по-настоящему нас сблизил

лес. Здоровья почти по-былинному, Витек мог долго держать высокий темп ходьбы. Несмотря на десятилетнее старшинство, подхватывал он частенько мою сумку с лесными дарами, если маял меня радикулит, и тащил свое и мое, не чувствуя усталости. В лесу за продолжительными и углубленными в предмет разговорами мы стали лучше понимать друг друга. Узнали, что можно допустить в общении, а чего нельзя ни при каких обстоятельствах.

Было в нем много детскости в мировосприятии и легкомысленной шаловливости: что-то от игруна или скомороха. Скакал он всю жизнь и в обыденности, и в разговоре от одного к другому, ни на чем особо не задерживаясь. Из-за этого и проходил он всю жизнь по-пацански Витьком.

Идем как-то мимо психонерво... враз не выговорить. Больные на лавочке сидят. Витек им по-генеральски:

«Здравствуйте, товарищи дураки!»

А в ответ:

«Умные-то так не кричат...»

«Съел!» — подначил я тихонько Витька. Он так же тихо:

«Им палец в рот не клади, оттяпают...»

Выйдя на мой стук, радостно суетится:

— Ну наконец-то!

— Пошел прибраться на кладбище, а грабли забыл. Зашел вот.

— А чего их таскать туда-сюда? Все равно идешь мимо, лишний раз поговорим.

На неуклюжем подобии забора из гнилья досок и веток стоят опертые грабли. Беру посмотреть. Ручка подопрела, железо болтается. «При таком выборе и это сгодится», — подумалось. Витек отбирает из моих рук инструмент и, ставя на место, говорит:

— Успеется с кладбищем-то. И на кладбище всегда успеется. Проходи...

Он ведет меня через захламленный железом коридор, через чугуны, кастрюли и скопления стеклянных банок на полу кухни. С моего последнего посещения, а был я здесь последний раз года три назад, захламленность резко увеличилась. «Пьет, — подумал, — стареет». И заговорил скорее формально, чтоб не молчать. Знал: если инициатива говорения перейдет к хозяину, то грабли мне сегодня уже не потребуются.

— Самогонный аппарат раньше-то упаси бог на виду оставить, а у тебя...

— А зачем и от кого его прятать — фляга с электроподогревом. Мало ли для каких нужд, — обрывает мою попытку взять верх Витек. — Года два назад купил мешок сахара, продукт стратегический, порче не подлежит, да в нем дрожжи не работают. То ли Ельцин тогда чего велел подсыпать в наш свекольный, то ли Фидель — в свой тростниковый. Оба коммунаки старые, народ дурить привыкшие. Мы с тобой в одной деревне живем, видимся редко. Нам бы щас не помешало чего-нибудь налить, а им до того и дела нет. Думал, дрожжи виноваты. Проверил — работают.

— Приглуши, — киваю на бубнящий телевизор.

— Эт мы ща, — ерничает Витек, выключая подобранный на свалке аппарат. — Втроем не разговор — базар. Это сейчас всякие глашатаи про успехи да про наш рост вещают. Интересно, когда они КПСС кинули, куда свидетельство партийной принадлежности-то затолкали? Вякни кто из них чего-нибудь даже при сонном Брежнев! Им быстро поменяли бы

партийный билет на волчий, до сих пор бы улицы мели! Все они тогда тихо сидели, ходили по струнке! Презираю за это чиновничий сброд. У них ведь иного пути, как в тварность, нет. Самый деклассированный элемент. Не успел Ельцин анафему компартии пропеть, они уже сопят-трудятся, другому идолу молятся. Вот тебе и идейность! При Сталине они нас из ружья во имя чистоты мифических идей постреливали — выслуживались. Одолей Гитлер — ему б служили. Сейчас — великие демократы. Китаезы вон прут, скоро весь мир подомнут, и заметь — не идейным рычагом, а экономическим.

— Перебор, по-моему, получается, Вить. Чиновничий класс сложился давно — от писцов древности и наших приказных изб. И как без них-то?

— Никак, — соглашается Витек, — но не решать они должны, а исполнять. Ведь от ихнего «да» или «нет» жизнь не в продых становится. И идейность, которой их коммуняки наши наделили, совсем им ни к чему. Наш Ельцин почти восемь лет мосол идейности обгладывал, в иную веру обращал — или вид делал, чтоб легче красть было. Даже войну для этого затеял...

Витек возмущенно смолкает и задумчиво смотрит в окно. Шапка седых вьющихся волос, никогда не видевшая над собой насилия головного убора — а, по-моему, и гребня, — местами желтизной подернулась, торчит пуклями. Я тогда еще подумал: «Вот так всегда — берет словесную инициативу в руки и до конца не отпускает...»

— Археологом хотел стать, курганы раскапывать, — не отрывая взгляд от окна, как на исповеди, медленно и раздумчиво делится он сокровенным. — Тайны узнавать. Охочий я до тайн сызмальства. Детство-то на войну пришлось. Бедукуристый был — нет спасу! Приезжали с передовой офицеры. Ели мамину стряпню — с ложками в руках, кто как сидел, так и засыпали. Вынимал я тогда у кого-нибудь пистолет, доставал магазин, выковыривал и в рядок выстраивал патроны на столе. Иногда попадало серьезно. Те, кто постарше, только по головке гладили да вздыхали: своих пацанов, видать, вспоминали... Мишу с Машей хорошо запомнил. Были они еще совсем молоденькие, а уже офицеры, муж и жена, — лейтенанты медицинской службы. Мне их пайковые сладости доставались. Маша за вещами приезжала. Мишу у Новоживотинновской переправы, сказала мама, закопали. Сама уже не плакала, только губы у нее искусанные корчи сводили. Зачем все это так хорошо помню?.. Ума не приложу... День и ночь из Рамони по железной дороге подвозили раненых, помню. Стоны, смех помню, плач помню... все вперемешку: бинты, обрывки тряпья — по узлу на рану... все в крови. Каждый день санитары несли в лес на носилках умерших хоронить — тоже помню. Малую часть потом перезахоронили. Теперь все в лесу заровнялось... — По лицу Витька прошла судорога. — Слаб стал... на слезу слаб... Говорят, возрастное... А в археологи не вышло. В музыканты пошел. Сибирь одолел вдоль и поперек. Бзяночки там хороши, ох хороши! Еще такой красоты нигде не встречал.

— Чего ж ты зыряночку сюда-то не привез?

Витек меня тут же, как несмышлениша, вразумляет:

— Они только по обличию разные, а так — бабы и бабы. В нашей библиотеке наткнулся на писанину одной феминистки. Ох она нас там! А в каждой строчке тоска по мужику слышится. Это Чернышевский тему раздул, Ольге Сократовне — так, по-моему, жену его звали — голову забил свободой отношений. Потом в письмах Белинскому плакался: как, оказы-

вається, при плюсах свободи отношений тязко друга семьи переносить. Думаю, Чернышевский просто переоценил свою неотразимость и незаменимость, Ольгу Сократовну переобожествил. Сам виноват. Имеешь бабу, имей об ней заботу. Или отпусти... Нет, эта заморочка не по мне... Рассадку я вырастил — помидоры будут, капусту посадил, огурчики. В апреле березового сока натаскал — вино будет. Осенью — из слив. И кто мне укажет: голову или ноги на подушку класть. Спроси меня Боженька с небес: чего, мол, хочешь, Виктор Дмитриевич? Оставь, попрошу, как есть, даже короу у соседа губить не надо, хотя крови он, гад, из меня попил!

— Не раз от жителей этих мест слышал: в молодости ты концерты устраивал. Представляю, как это было красиво — рассвет и живая музыка над озером!

— Это мы с братом репетировали. Я на кларнете, брат на трубе. Теперь все заглохло, люди кастрюли, горшки, золото-бриллианты делают. И я ни одной ноты уже не выдую. Тогда тоже имущество делили, но и про душу помнили. Свой духовой оркестр в Рамони был. Хотя и шпановатые мы с братом были, а на репетиции никогда не опаздывали. Оно ведь счастья и радости везде через край, только увидь: то от озера бы глаз не отводил, то лес — красота-то в нем, красота-то какая! — Он крикнул раскатисто, показывая тем степень восторженности, и так громко, что мне показалось: еще чуть добавить, стены его избы — на четыре стороны и крыша — вбок! А он как ни в чем не бывало продолжал: — Обратил внимание на то, на се — и наслаждайся! Денег с тебя природа никогда не потребует. Небось не забыл, как мы заповедную сосну обхватами мерили?

— Нет, Вить, — говорю, — не забыл... Ты мерил, — уточнил я.

...В тот год осень загодилась. Ох и загодилась она теплыми дождями, солнышком. Тут и там повысыпали желтые с серым на толстых ножках опята. На пнях в траве, в осиннике, в сосняке стояли они целыми выводками. С пластиковыми пакетами, ведрами, корзинами ходили грибники друг за другом.

Свернули мы тогда на полянку передохнуть. Рюкзаки наши располнели; можно было и перекусить, и поглазеть окрест. Еще в пути, собирая грибы, я попросил Витька рассказать о военных событиях в этой лесной местности.

Из объемистых карманов рюкзаков достали и разложили на ровном, как стол, пне провизию. Витек, разливая в стаканчики водку, говорил:

— Крышку гроба приподняли — черное лицо, погоны генерала: Иванов. Через щели в крышке другого — парашютный шелк белеет: летчик. Это в сорок шестом, а в сорок втором мне было четыре года. Помянем!

Выпив, Витек медленно сверху вниз провел по лицу ладонью. Подбородок, губы, щеки неумно сводили корчи... слезно-сдавленно, глухим голосом:

— Что вчера было — позабыл, а это в памяти...

Лес тогда просветлел, зашелестел разноцветьем жести листвы, запах особенным грибным и осенним духом, умиротворился тишиной, огородился паучьими сетями-ловушками. В мыслях, в мыслях же почему-то больше было ухода, чем возвращения, больше пространства и странной разорванности, когда предметы и люди разносит в разные стороны сила неодолимая, а попытки свести их, сблизить вызывают грусть и боль. Трудно совместить то и нынешнее время: люди народились совсем другие, жизнь стала другой.

— Как-то живо ощущение границ войны — вот она когда-то началась, вот она закончилась?

— Это сейчас — да, а тогда кто об этом думал! Жили и жили. Для пацанов тех лет война была всегда. Весной сорок пятого посадили нас, малышню, на полуторку и катали по селу. Видно, хотели, чтоб запомнилось. И запомнилось! Машину останавливали, нас обнимали, целовали, плакали. Давали конфетки и кусочки сахару или булочку. И так целый день. Мы слышали: «Победа, войне конец, победа...» Но эти слова не связывались с концом войны. Отец еще не пришел. Мать ждала, ждала и уже померла, мне шестьдесят, а отец все идет...

...За крайними домами у Верхнего озера — кольцевые впадины. Тут расстреливали своих, осужденных военно-полевым судом. Партию видел сам. Говорят, из-под Скляева гнали. На лица смотреть страшно! Уж лучше б на месте. Ведь мужики же! Воином родиться надо! Им бы землю пахать, а их за мужичество и неотесанность — на расстрел...

...Земляники в то лето было! Насобираем с мамой, несем танкистам. Немцы на своих «рамах» сколько ни крутились, ничего сверху разглядеть не могли. А я, как танки увидел — они на месте сегодняшнего кладбища стояли, — сразу все понял: сначала на танках воюют, потом ловят рыбу. Прутики-удочки к башням привязаны.

Лес тогда забили нашей техникой плотно. Немцам хотелось знать: где и что. На «кирпичном» — так называют место, где работал когда-то кирпичный заводик, — приземлился парашютист. Смершевцы его словили, допросили и расстреляли, а тело бросили в выгребную яму — наш, русский был...

...Дни стояли жаркие. Под бесконечное «бум-бум» далеко над лесом поднимался густой черный дым: горел Воронеж... — Обирая тогда с лица паутину и, как лось, круша заграждения сухостоя, Витек споро шел и рассказывал, рассказывал. — Над поселком немцы сбили шесть наших самолетов и ни одного своего не потеряли. Качественно, сволочи, воевали...

— Говорят, — пробую вклиниться-поерничать, — будь иным отношение к мирным жителям, не наши дороги и расстояния, да не морозы...

— Во-во! Таких вот запевал и пускали в расход за Верхним озером, — обрывает мою попытку лить воду на мельницу врага Витек. — Смотри, сосна какая! Похоже, и царя Петра помнит, и войны, и кудеяровых разбойников — стан тут у них где-то был, база ихняя.

Он развел тогда руки и прижался к стволу грудью, но впечатление — обнимает стену, а не дерево.

— А ты знаешь, почему ни дворец рамонский Ольденбургских, ни мост через реку Воронеж немцы не разрушили? Обещано все было Типпельскирху. Он командовал частями наступавших немцев... Пять обхватов в сосне! — закончил обмер Витек. Я знал: соврет — не сморгнет, но проверять не захотел.

— Скажи, лесной человек, почему сосна в пять обхватов одна на весь лес?

— Был ты чужак в лесной деревне, чужаком и останешься! — загорячился Витек. — Посмотри, сколько народу живет кругом, сколько до нас жило, сколько после жить будут, а «в пять обхватов» только Толстой, который Лев, Пушкин да Лермонтов. Редко в лесу дуб, все больше осинник да кустарник. Против природы не попрешь!

Мы разошлись, обходя с двух сторон болотце. На свежей и яркой зелени мха хорошо были видны маслята. Но как только раздвинул я ветви

болотного кустарника, показались густые кучки опят. Постановив от удовольствия, полными горстями срезал — и в сумку их, в сумку. Рядом, не сдерживая восторженных восклицаний, шуршал листвою Витек. Если приостановиться-прислушаться, слышна божественная музыка Вечности — лесной тишины.

— ...Генерала Иванова хоронили в крашеном гробу, везли на пушечном лафете. А я пушку испугался. Даже гильзы не ходил собирать и не видел, как хоронили. В сорок шестом перезахоранивали. Тогда-то мужики и приподняли крышку гроба... Ты что, уснул что ли! — выводит меня Витек из засылки ощущений сиюминутности. — Мужиков, говорю, молчком, — обслуживающий персонал при человечестве. Иванов на службе состоял, пил-ел лучше, чем солдат, потому как рисковал. Солдат же — расходный материал, всегда тупее генерала, поэтому и рисковать ему особенно незачем. Погулять вышел и сдуру на пулю напоролся. Все изначально перевернуто в веках властью. Я их пою-кормлю, чтоб мне спокойно жилось-пахалось, а они мне войны устраивают, а потом как собаку из лазарета — в лес на носилках в общую яму. Это как? Телевизор хоть не включай! Про душу совсем позабыли, не поповщиной же довольствоваться, прости меня, Господи, грешника! — Он широко перекрестил свою никогда не видевшую креста грудь.

«Стареет, нервным стал, категоричным», — подумалось.

— Ты, Вить, зря так, генерала зря, — окончательно очнувшись, перебиваю я Викторову словесную крамолу. — Ты ж теперь самый что ни на есть гегемон демократии, власть! Генерал — давно не воевода. По-хорошему спроси, он действительно не знает, что поит-кормит его народ затем, чтоб он ценой своей продолжил жизнь твою. Сам же — и тогда, и сейчас — считает, что на работу ходит, что хорошо в жизни пристроился.

— Все ты, может, и правильно говоришь, но... — тут же поворачивает разговор Виктор. — Санек тут ко мне заходит — дурак из дурдома. Умнай, спасу нет! То ли историк, то ли филолог; говорит, карандаши самому Гордейчеву, поэт который, очинял. Все про Наполеона знает! Всех его генералов в подробностях — защищаться хотел по этой теме, да в психушку попал, переучился, видать, или наука не по уму тяжелой оказалась. Ты думаешь, у него душа не бунтовала, когда из князи в грязи? А у народа при коммуниках? — опять раскручивается-распалается Витек. — Природой заложено приспособляться: нам к властям, властям к окруженью, Саньку к дурдому. А че, Санек говорит, в психушке кормят, одевают, деньги дают, а если при кухне...

— Во, вот и дуй к нему в пару на кухню! Правильно ты все понимаешь, а то как понесет тебя старческая дурь!..

Но уши мои Витек не жалеет, про грабли хоть не заикайся! «Успеешь», — надоедливо раз за разом повторяет хозяин. И без излишних ссылок переводит разговор то в одно русло, то совсем в другое.

— О Гумилеве слышал?

Я ерничаю:

— Который на Поляне дачи сторожит?

— Да. Сынок его мамке задолжал, да возвращать не хочет.

Хохотать Витек начинает сразу, по ляжкам себя хлопать — и, резко приняв вид деловой и серьезный:

— Двух Гумилевых следует помнить. Николай, муж Анны Ахматовой, поэт, ученик Валерия Брюсова. Я о Брюсове слышал так: культуру-

ный поэт; а вот что это означает — хочется трудно. Может быть, набор универсальных качеств — тогда многих можно отнести в этот разряд. Царя Николая в восемнадцатом большевички расстреляли, а в начале девяностых сами себе харакири сделали. Байка потом ходила. Конвойный — в камеру: который тут поэт Гумилев, выходи. А в ответ: нет поэта Гумилева, есть офицер Гумилев. А всерьез — даже Горький ходил к Ленину за него хлопотать. Как там у Белинского: хорошие поэты долго не живут? И с Анной у них ничего, кроме сына Льва, не получилось. Когда Льва посадили, она «Реквием» написала:

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река...

И:

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла...

Едва слышно произнес Витек последние слова, икая и давясь спазмом. Утер кулаком слезу — и, заметно повеселев:

— Хорошо, что зашел поговорить. А если все знаем, что ж нам, молчать, что ли? Большевички в двадцатых кого расстреляли, кого за границу выперли, чтоб остальным думалось так, как надо думать, а не как кому вздумается. Элита общества, говорят, тысячелетие складывалась, разом всех под корень — ума не надо. Как дальше жить — вот вопрос...

Достал из-под стола банку, разлил в стаканы мутную жижу с темными лопухами каких-то трав. «Понесло, — невесело подумал я, — до граблей теперь очередь не скоро дойдет».

— Это березовый сок, прошлогодние сливы, мята. Хотел чагу добавить... Этому добру настояться бы... ну, бери...

Оглядываю жилище. Все как всегда: оленьи рога на прокопченных стенах, пни вместо табуреток и два до черноты крепко просаленных на бойких местах кресла. Только древесная плита по низу стен — новое.

— Никак мерзнешь? — киваю на новшество.

— Осенью оббил. Воду забудешь вылить — мороз ведра рвет. Одеяло у меня толстое. Мало — периной укроюсь.

— Странно мне, Вить, все это... вроде в лесу живем... и печка у тебя есть.

— Многого тебе не понять! При деле ты живешь... Дети, внуки... Какие-то у тебя заморочки в голове, интересы разные. А тут — выпить да поспать, потому как не вижу я никакого смысла в шевелениях. Да, созерцание баб, природы, размышления — приятно, но с возрастом хладеешь ко всему... Ох, — вздыхает Витек, как бы перевернув пластинку на веселый лад, — притчу тебе расскажу. Мать померла, остались два брата, дети ее. Один ленивей другого. «Свези меня, брат, на кладбище, — говорит один другому. — Мне такая жизнь не по нутру». Везет брат брата на кладбище, навстречу барин в тарантасе. «Что да как?» — спрашивает братьев и, узнав в чем дело, протягивает сумку сухарей. Брат с телеги: «А они моченые?» — «Нет», — отвечает барин. «Не, не нужны! Уж вези меня, брат, лучше на кладбище...»

Мне под его мерную «молотьбу» хорошо думается, но грабли и кладбище из головы не идут. На мои напоминания он не обращает внимания или делает вид, что ничего не слышит. Выдержав соответствующую паузу, Витек сам над своей притчей хохочет, бьет себя по коленям руками:

— Какие только присказки народ не сложил! Да ты бери, бери...

Обижаться на него бесполезно. Я беру залапанный жирными пальцами стакан, смачиваю губы: слегка сладит, кислит... а Витек, приняв странную жидкость и вытерев губы, продолжил:

— Лев Николаевич Гумилев и в лагерях посидеть успел, и докторскую защитил, и по-своему объяснить движение народов в нашем ареале, и словечко придумал интересное... ну, как его...

— Пассионарии, пассионарные толчки...

— Во-во же! С тобой говорить одно удовольствие. Славяне — то ли их вышибли, то ли еще что — с Дуная пошли сюда; финны и карелы с Урала двинули на северо-запад, Атилла с причерноморских степей нагрянул топить в крови Европу. Младший Гумилев по образованию историк?

— Доктор он, по-моему, географических наук, но точно сказать не могу.

— Историк он сильный и своеобразный. Все закономерно: и Санек в дурдоме, и Россия на дыбы! Пойди разбери — мы управляем или это нам только кажется. А может, нами управляют? А мы еще своим хилым умом понять хотим: кто умный, кто дурак... Судьба-а...

Витек наливает себе еще:

— Ты что не пьешь? Хорошая штука! Бывало, налетит орда, обопьют, обожрут. Разговоров... до рассвета! А я очень люблю умные разговоры послушать. Молодой когда был, костюми себе на заказ шил дорогие. В приличное общество был вхож, а в нем знакомства, общение. При тебе у меня тут международник Некрасова и Пушкина читал. После того как дачу продал, больше не появился. Умный мужик был... Стареем. Днями иду — соседка на крыльчке сидит. Поздоровался, а она меня останавливает и спрашивает: ты чей будешь? Сосед, говорю ваш я. Запричитала, захохла. Зажилась, говорит, ослепла и оглохла, говорит, а все живу вот. Вы, говорю, Бога не гневите, а то накажет, бессмертной сделает. Вместе и посмеялись. Всю жизнь одна. Мужик ее, как и мой отец, погиб в войну. Мы с ее сыном Костиком безотцовщиной росли. Но до чего ж судьба на сюрпризы горазда! В армии сапером был, искал и копал под Ленинградом, где отец погиб. Не поверишь — везде земля там от металла пищит. Может, и его косточки в руках подержал!

Помолчали. Витек неожиданно спрашивает опять совсем о другом:

— Поэта Самойлова-то давно видел? И встречались мы с ним всего раз, и не глянулся он мне ни с какой стороны, а интересно, как он там?

— Зимовал в богадельне, в Глушицах...

— Что-о? — округляет глаза Витек и, согнувшись пополам, заходит-ся в смех — или изображает смех, бог его, артиста, разберет. — Самойлов с бабушками, волк в овчарне, божий одуванчик, поэт в клетке! Это кому ж в голову пришло, а? Как там у Блока:

А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

— А тут к бабушкам, помирать, значит, — посерьезнел Витек. — Поэты — они все повернутые: что Пушкин, что Лермонтов, что Есенин, что Маяковский. Да любого возьми — им свобода нужна, преодоление им нужно, любовь без ответа, даже отшельничество. Особенный это народ... Как там опять у Блока:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой...

Витек опрокинул питье в рот, макнул пучок лука в солонку, зажевал выпитое и, махнув рукой каким-то своим мыслям, закончил:

Пусть я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

Разжег он и меня. Я, чтоб не оплошать, попытался продолжить первым, что приходит в голову: «Под насыпью, во рву...» Витек налетает коршуном:

— Не, не, не, — машет он руками. — Стихотворение хорошее, но с политикой: желтые, синие... Во, вот:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол...

— О, черт, память, — он стучит ладонью по лбу. — Стареем, тупеем... как же там последнее четверостишие-то? Ага, вот:

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Он патетично застыл, театрально склонив голову вниз и немного вбок; будь это дирижер оркестра, наверняка бы взмок в этой точке от напряжения.

Я засобирился. Витек по-детски занудил о трудности жизни без общения, о том, что стены съедают, что ночам конца нет, что в жизни все временно и временно, что только там, хоть и глухое, а постоянство...

Проводив меня за ворота, первый спохватился напомнить:

— Грабли-то, грабли...

Сколько ж лет прошло с тех пор? А есть ли оно, время-то, или это выдумка философов, и все происходит сейчас — и вчера, и сегодня, и завтра, — сейчас...

Трудится на сухостойной сосне юркий дятел. То, как в раздумье, — тук...тук...тук; то вдруг зачастит редко прерываемой дробью: та-та-та. Сосна древесно кряхтит от легчайшего дуновения. Наляжет ветер посильнее, и она, крякнув, зашелестит, цепляя соседей, наберет разгон и хряско ударится о землю. Сила упругости ствола высоко подбросит комель, и, ломая последнюю сущь веток, уляжется она на вечный покой так, как предписано ей природой и лесным законом.

Пожила на свете, голубушка, погрелась под зимними снегами, помлела под весенним солнышком. От ее пыльцы во время цветения шли зеленые дожди, а из семян ее шишек поднялись кругом тоненькие щупленькие детишки. Если лесные звери или человек не успеет повредить их, устрелят они свои верхушки в бездонную синь неба...

Стояло лето. Свернул к знакомой калитке. Поперек диагонально — палка; калитка оторвана и прислонена к соседскому забору. Кругом хаос некогда раскиданных как попало вещей.

— Ты уже совсем забыл сюда дорогу, — увидев меня, сказал Витек с укоризной и скрылся в темном провале сеней. Как знал, что не пойду за ним: вынес на улицу стакан, водку, соль, лук...

— Грабли вон, только ручка совсем сопрела. Слышал и знаю — жив. Значит, есть с кем поговорить! Это я не о тебе, это я о себе так забочусь... — И захохотал, наливая водку. — Не дай Бог что кому рассказать; а главное — кто правильно поймет, о чем я!

— Чем жив? — спрашиваю.

— А ничем, — ответил, сникая, и добавил: — Снится хемингуэевское — «Снега Килиманджаро». Чудная вещь, скажу я тебе, чудная! И шакалов слышу, и птиц-стервятников вижу, и выпить, как той бабе, хочется, и южная ночь опускается, и самолетик маленький-маленький на огромную вершину снегов летит, летит — и, куда ни глянь, все белое. Жить мне больше незачем... Что есть, что нету...

— Завязал бы с питьем-то...

— А зачем?

По давно не бритому лицу побежала слеза, да так в щетине и застряла.

Вскоре в деревне слухами прошелестело: «Как жил непуतेво, так и помер — непутево». И позабыла Витька деревня — так позабыла, как и не было его на земле. А я наказал себе: «Грабли, грабли-то теперь...»

«Ты там как?» — шепотом спрашиваю у ветра, у неба, у солнца.

«Сыро тут в земле-то, кости зябнут», — то ли ветер, то ли небо — едва слышно...

